

В. Дегтев «Крест»

1. *Проблема выбора.*
2. *Проблема совести.*
3. *Вопросы веры, всепрощения.*

КРЕСТ

Я шел из Владивостока в порт Ванино. Рейс был последний в сезоне. Шансов успеть до ледостава почти не оставалось. Из Ванина сообщали, что у них на рейде раз-другой уже появлялись льдины. Я недоумевал: зачем послали так поздно? Однако надеялся, что зима припозднится и удастся проскочить или еще как-то повезет. Тихая и теплая погода в Японском море давала основания для таких надежд.

На борту у меня был «особый груз» — осужденные священнослужители, высшие иерархи духовенства: епископы, экзархи, настоятели монастырей. Надо сказать, однажды мне уже приходилось переправлять подобный «груз» — страшно вспомнить... В этот раз — совсем другое дело. Ни тебе голодовок, ни поножовщины, ни шума, ни крика. Охранники мучились от скуки. Они даже гулять попов стали выпускать на палубу, не боясь, что кто-нибудь из осужденных бросится за борт. Ведь самоубийство у верующего — самый тяжкий грех. На прогулках святые отцы чинно ходили по кругу, худые, прямые, в черных длинных одеждах, ходили и молчали или переговаривались полупшепотом. Странно, но, кажется, никто из них даже морской болезнью не страдал, в отличие от охранников, всех этих мордастых увальней, которые, чуть только поднимется небольшая зыбь, то и дело высовывали рожи за борт...

И был среди монахов мальчик Алеша. Послушник, лет двенадцати от роду. Когда в носовом трюме устраивалось моление, часто можно было слышать его голос. Алеша пел чистейшим альтом, пел звонко, сильно, и грубая железная обшивка отзывалась ему. С Алешей делила долю собака Пушок. Рыжеватый такой песик. Собака была ученая, понимала все, что Алеша говорил. Скажет мальчик, бывало: «Пушок, стой!» — и пес стоит на задних лапах, замерев как столбик, прикажет: «Ползти!» — и пес ползет, высунув от усердия язык, вызывая у попов смиренные улыбки, а охрану приводя в восторг, хлопнет в ладоши: «Голос!» — и верный друг лает залиvisto и с готовностью: «Аф! Аф!». Все заключенные любили Алешу и его кобелька; полюбили вскоре и мои матросы; даже охрана улыбалась при виде этой парочки. Пушок понимал не только слова хозяина, он мог читать даже его мысли: стоило Алеше посмотреть в преданные глаза, и пес уже бежал выполнять то, о чем мальчик подумал.

Наш комиссар Яков Наумыч Бень, в прошлом циркач, восхищался Пушком: уникальная собака, цокал языком, с удивительными способностями, ей цены нет. Пытался прикармливать пса, но тот почему-то к нему не шел и корма не брал. Однажды на прогулке старпом подарил Алеше свой старый свитер. С каждым днем заметно холодало. Курс был норд-норд-ост. Мальчик зяб в своих вытертых ряске и скуфейке... Алеша только посмотрел Пушку в

глаза, — и пес, подойдя к старпому, лизнул его в руку. Старик так растрогался... Возвращаясь к хозяину, пес ни с того ни с сего обляял Якова Наумыча, спешащего куда-то. Чуть было не укусил.

Мне непонятно было такое поведение собаки. Однако на другой день все стало ясно. Я зашел к комиссару, — вошел в каюту неожиданно, кажется, без стука, — и увидел в его руках массивный серебряный крест. Яков им любовался... Крест был прикреплен колечком к жетону. Короной увенчан жетон, на нем — зеленое поле, а на поле — ветвистой рога́тый серебряный олень, пронзенный серебряной стрелой. Яков перехватил мой взгляд. «А наш-то послушник, оказывается, — князь!» — сказал он как ни в чем не бывало и кивнул на крест с гербом...

Вот так мы и шли, батюшка, пятеро суток.

И вот на шестой день плавания Яков спросил координаты. Я сказал. Он озадаченно пробурчал что-то и спустился в носовой трюм. Вскоре вернулся с Пушком под мышкой. Пушок скулил. Алеша, слышно было, плакал. Кто-то из монахов утешал его. Комиссар запер пса в своей каюте, и я расслышал, как он спросил о координатах штурмана и резко одернул старпома, попытавшегося было его усовестить: «Не твое дело!». После чего послонялся какое-то время по палубе, нервно пожимая кулаки, потом опять сходил в свою каюту и вернулся с черным пакетом в сургучных печатях. Вновь спросил у меня координаты. Я сказал: такие-то. Тогда он торжественно вручил мне пакет. Я сломал печати. В пакете был приказ. Ты слышишь, батюшка, — мне приказывалось: остановить машину, открыть кингстоны и затопить пароход вместе с «грузом». Команду и охрану снимет встречный эсминец. Я опешил. И с минуты ничего не мог сказать. Может, ошибка?.. Но тут подошел радист и передал радиограмму с эсминца: «Беспощадный боец революции Лев Троцкий» — корабль уже входил в наш квадрат.

Что я мог поделать — приказ есть приказ! Помня о морском долге и долге капитана, я спустился в каюту, умылся, переделался во все чистое, облачился в парадный китель, как требует того морская традиция. Внутри у меня было — как на покинутой площади... Долго не выходил из каюты, находя себе всякие мелкие заботы, и все время чувствовал, как из зеркала на меня смотрело бескровное, чужое лицо. Когда поднялся на мостик, прямо по курсу увидел дымы эсминца. Собрал команду и объявил приказ. Повел взглядом: кто?.. Моряки молчали, потупив глаза, а Бень неловко разводил руками. Во мне что-то натянулось: все, все они могут отказаться, все — кроме меня!.. — В таком случае я — сам!..

Спустился в машинное отделение — машина уже стояла, и лишь слышно было, как она остывает, потрескивая, — и, со звоном в затылке, отдраил заглушки. Под ноги хлынула зеленая, по-зимнему густая вода, промочила ботинки, — холода я не почувствовал.

Поднявшись на палубу — железо прогибалось, — увидел растерянного комиссара, тот бегал, заглядывал под снасти и звал:

— Пушок! Пушок!

В ответ — ни звука. Из машинного отделения был слышен гул бурлящей воды. Я торжественно шел по палубе, весь в белом, и видел себя самого со стороны, и остро, как бывает во сне, осознавал смертную важность момента. Был доволен тем, как держался, казая себе суровым и хладнокровным. Увы, не о людях, запертых в трюмах, думал, а старался думать о том, как выгляжу в этот роковой миг. И сознание, что поступаю по-мужски, как в романах — выполняю ужасный приказ, но вместе с тем шепетильно и тщательно соблюдаю долг капитана и моряка, — наполняло сердце священным трепетом и гордостью. А еще в голове тяжело перекачивалось, что событие это — воспоминание на всю жизнь, и немного жалел, что на судне нет фотографического аппарата... О-о-о, батюшка!

Из трюмов понеслось:

— Вода! Спасите! Тонем!

И тут мощный бас перекрыл крики и плач. Он призвал монахов к покаянию. А потом воззвал:

— В последний этот смертный час сплотимся, братия, в молитве. Не склоним главы пред антихристом и его слугами. Примем смерть как искупление и помолимся за наших мучителей, ибо слепы они и глухи. Свя-тый Бо-о-оже, Свя-тый Кре-е-епкий, Свя-тый Бес-с-мерт-ный, поми-и-илуй нас! — за-пел он торжественно и громко.

За ним подхватил еще один, потом другой, третий, и вот уже трюмы загудели у меня под ногами песнопений. Тюрьма превратилась в храм. Слышавшись, голоса звучали так мощно и так слаженно, что аж дрожала, вибрировала палуба. Всю страсть и любовь к жизни, всю веру в Высшую Справедливость вложили монахи в последний свой псалом. Они молились и за нас, безбожников, в железном своем храме. А я попирал этот храм ногами...

В баркас спускался последним. Наверное, сотня крыс прыгнула вместе со мной. Ни старпом, ни матрос, стоящие на краю баркаса, не подали мне руки. А какие глаза были у моряков!.. И только Яков Наумыч рыскал своими черными маслинами по палубе, звал собаку:

— Пушок! Пушок! Черт бы тебя взял!..

Не отзывался пес. А пароход между тем погружался. Уже осела корма и почти затихли в кормовом трюме голоса. Когда с парохода на баркас прыгнула последняя крыса — она попала прямо на меня, на белый мой китель, — я дал знак отваливать. Громко сказал: «Простите нас!» — и отдал честь. И опять нравился самому себе в ту минуту...

— Подождите, — закричал комиссар. — Еще чуть-чуть. Сейчас он прибежит. Ах, ну и глупый же пес!..

Подождали. Пес не шел. Пароход опускался. Уже прямо на глазах. И слабели, смолкали, один за другим, голоса монахов, и только в носовом трюме звенел, заливался голос Алеши. Тонкий, пронзительный, он звучал звонко и чисто, серебряным колокольчиком — он звенит и сейчас в моих ушах!

— О мне не рыдайте, плача, бо ничтоже начинаю достойное...

А монахи вторили ему нестройным хором:

— Душе моя, душе моя, восстань!..

Но все слабее вторили и слабее. А пароход оседал в воду и оседал... Ждать дольше было уже опасно. Мы отвалили.

И вот тогда-то на накренившейся палубе и появился пес. Он постоял, посмотрел на нас, потом устало подошел к люку, где все еще звучал голос его Алеши; скорбно, с подвизгом, взлаял и лег на железо.

Пароход погрузился, и в мире словно лопнула струна... Все заворуженно смотрели на огромную бурлящую воронку, кто-то из матросов громко икал, а старпом еле слышно бормотал: «Со святыми упокой, Христе, души раб Твоих, иде же несть болезнь, ни печаль, ни въздыхание, но жизнь бесконечная...» — а я тайком оттирал, оттирал с белоснежного рукава жидкий крысиный помет и никак не мог его оттереть... Вот вода сомкнулась.

Ушли в пучину тысяча три брата, послушник Алеша и верный Пушок. Две мили с четвертью до дна в том месте, батюшка.

* * *

— Какое, вы... какое вы чудовище! — прошептал священник, отшатнулся и сдернул с моей головы расшитую шелком епитрахиль.

На груди у него заколыхался серебряный крест. Он прикреплен колечком к жетону. А на жетоне — княжеская корона, зеленое поле и на поле — олень, пронзенный серебряной стрелой.

— Откуда у вас крест, батюшка?

Ничего не говорит он в ответ, закрыл крест ладонью...

— Где вы его взяли?

Закрыл крест ладонью и ловит, ловит ртом въздух... Воздух остро пахнет ладаном и топленым воском.